

Слова в снегу

Алексей Поликовский

Слова в снегу

Книга о русских писателях

АНО
АЛЬПИНА НОН-ФИКШН

Москва, 2025

УДК 821.161.1-3
ББК 83.3(2=411.2)
П50

Текст публикуется в авторской редакции.

Редактор раздела «Литература» ЕЛЕНА ДОРОВСКИХ.

Поликовский А.

П50 Слова в снегу: Книга о русских писателях / Алексей Поликовский. — М. : Альпина нон-фикшн, 2025. — 396 с. : ил.

ISBN 978-5-00223-469-1

Новая книга автора посвящена особенной теме — миру русской прозы. Как, из чего и, главное, зачем она входит в наш суетный мир?

В книге 19 глав, каждая из которых посвящена одному из прославленных или забытых писателей. Здесь портреты и знаменитых Гоголя, Тургенева, Олеси, Трифонова, и полузабытого Савина, и малоизвестного Сержа. Такие разные писатели, такие разные эпохи... Как признаётся в предисловии автор, «смысл этой книги не всеобщий охват, а выбор сердца, не последовательность истории, а сиюминутность дружбы и любви».

Такую пристрастность нельзя не почувствовать, не пропитаться ею. Образы писателей рождаются не только из свидетельств современников, но и из их собственных цитат. Фразы, вложенные в уста литературных героев, и автобиографические признания становятся яркой характеристикой авторов.

Что же их объединяет? Страстная любовь к слову, мучительная потребность творчества. Все они, вне зависимости от времени и обстоятельств, — «русская литература в её движении и стремлении, в её страсти и боли, в её желании понять мир».

«Русская проза жива, и создатели её живы в том очевидном и тонком мире, который соседствует с нашим».

УДК 821.161.1-3
ББК 83.3(2=411.2)

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00223-469-1

© Поликовский А., 2025
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2025

Содержание

Предисловие	7
Аввакум	11
Гоголь	35
Тургенев	55
Герцен	77
Гончаров	95
Чернышевский	115
Лесков	137
Короленко	157
Зайцев	173
Савин	187
Замятин	203
Серж	231
Добычин	253
Пильняк	271
Олеша	295
Ямпольский	311
Некрасов	325
Трифонов	339
Владимов	359
Источники фотографий	375
Литература	377

Предисловие

Высокий, тощий, в белой длинной рубаше и драных портках, с сияющими глазами на тёмном лице — протопоп Аввакум писал своё житиё в тесной избе, где сквозь прорубленное в брёвнах окошко лился слабый свет северного дня. Писал, уже битый кнутом, уже сидевший в подвале, с хворобой в теле, с отбитыми рёбрами, уже видевший, как его соратникам режут руки и языки — и всё же писал, ибо поперёк страха и ужаса должен был положить своё слово. Так и сделал.

Отсюда, от этого пророка с высохшим узловатым телом, идёт русская проза, здесь её исток и здесь её родовая отметка: слово не просто так, оно вес и плоть, оно кровь и совесть, выговорить его трудно, а не выговорить нельзя.

И вслед за ним, за гневливым протопопом семнадцатого века, не чуждым юмора и добродушия, идут они один за другим — русские писатели, те, что служили слову всей своей жизнью. Нет среди них главных и не главных, важных и второстепенных — это игры критиков, расставляющих фигурки — потому что все они в полную силу и даже сверх своей силы вершат труд, от которого пальцы в чернилах, как у Писемского, и тоска самоубийства, как у Герцена, и лихорадка с потом, как у Толстого. Давлением времени и забывчивостью потомков то один из них, то другой отталкивается во тьму, как это случилось с Савиным или

Арцыбашевым, но и там не гаснет их свеча или электрическая лампочка, а нет электричества, так керосинка, при тусклом красноватом мерцании которой писал Добычин.

Пишет возбуждённый до безумия, до бессонницы, до нервного крика Лесков. Пишет, налегая обширным животом на край стола, флегма Гончаров. Пишет в крошечной парижской квартирке Борис Зайцев, вся проза которого словно нежный весенний дым. Пишет Пильняк, владелец американского авто и дорогих костюмов, не ведающий — или ведающий? — что его ждёт. Пишет Трифонов в окутанной чадом торфяных пожаров брежневской Москве. Пишут они, которые есть на этих страницах, и ещё другие, которых здесь нет, потому что всю русскую литературу не уместить в одну книгу.

И те, кто здесь есть, и те, кого здесь нет — все они русская литература в её движении и стремлении, в её страсти и боли, в её желании понять мир и отчаянии перед миром, который упорно холоден и жесток. Но есть ведь добро? А зачем тогда зло? Как всё это понять?

Можно жить в своём времени и на своём месте, а можно в русской литературе, которая сама по себе и время, и место, и отдельный от всего и всё-таки связанный со всем мир, где идёт куда-то очарованный странник Иван Северьянович Флягин, хладнокровно режет лягушку нигилист Базаров и спивающийся интеллигент Олеша выставляет себя на суд. На самосуд.

Мир ускоряется, дробится, мельчит, частит, а русская проза дышит ровно и сильно. От чёткой, сдержанной пушкинской фразы до завихрений Андрея Белого, от плотного быта толстых романов Боборыкина до таинственной прелести коротких бунинских рассказов — вся она не подвластна корысти и суете. Ощущение истины и чистоты

пронизывает эту прозу. Писали её праведники, не носившие ни ряс, ни белых одежд и бывшие в миру кем угодно — ядовито-желчным чиновником Салтыковым-Щедриным, запойным алкоголиком Николаем Успенским или даже агентом Коминтерна Виктором Сержем с револьвером в кармане.

Но были среди них и такие, святость которых не спрятана, а видна с первого взгляда — как Гаршин, всякую человеческую боль чувствовавшийся как свою. И если в Толстом, тоже наделённом таким мучительным даром, была страшная сила сопротивления, то в тонком и ранимом Гаршине силы не было, а только — незащитность.

Никуда эта проза не спешит и не будет спешить, пусть всё вокруг в нашем двадцать первом веке даже ускоряется до бешеного мелькания в глазах. А тут, в мире русской прозы, всё так же медленно мы будем идти к гончаровскому обрыву, идти в цветущих садах, под ярким солнцем, вблизи широкой Волги. И с берега откроется простор.

То, что здесь, в нашем времени и месте, считается незыблемым в своей важности — государство, цари в дальней истории, генсеки в ближней, власть, парады, войны, стройки века и прочая и прочая — то в высшем мире и на его весах понижается в весе, теряет в размере и оказывается малым, как пушинка. А русская литература на тех же весах показывает свой истинный вес. Может быть, она и есть то лучшее и высшее, что Россия дала для всечеловеческой истории. И если есть Суд, на котором Он, зная неведомые нам законы, спросит об оправдании — то этим оправданием будет русская литература.

Царства проходят. Книги остаются.

В это верили все они, от расстриги-попа Аввакума в земляной яме семнадцатого века до изгнанника Георгия Владимова в его квартире в немецком Нидернхаузене

двадцатого века, последнего писателя русской классической школы, в которой слово не лекарство, а боль. А после него — конец, пустырь с клоунами, шоу-литература.

Однако же вот что ещё. Видим, как внимательный читатель, глянув на оглавление, начинает загибать пальцы: Толстого тут нет, Достоевского нет, Булгакова нет... А Чехов? И его тоже на этих страницах нет, хоть автор и ездит каждый год к нему в гости в Мелихово и заглядывает в окно, к которому когда-то по высоким сугробам приходили зайцы... Но здесь не съезд писателей с обязательной явкой, не общее собрание русской прозы с датами жизни и библиографией; смысл этой книги не всеобщий охват, а выбор сердца, не последовательность истории, а сиюминутность дружбы и любви.

Русская проза жива, и создатели её живы в том очевидном и тонком мире, который соседствует с нашим. Очки дополненной реальности не нужны, чтобы увидеть его, достаточно души и сердца. И тогда на ночном бульваре в центре Москвы в свете фонаря вдруг мелькнёт быстрой тенью фигура в плаще, со странно-знакомым лицом, с длинным носом. Гоголь! А кто это идёт по Тверской, мимо бутиков и кафе, высокий, с седой головой, в гороховом пальто? Иван Сергеевич, вы? Тургенев кланяется с высоты роста. Тут же переносимся в Полтаву и видим, как из низенького домика выходит человек с окладистой бородой и озабоченным лицом. Плотная фигура, неспешные движения... Это Короленко, он держит путь в ВЧК, хлопотать за тех, кого арестовали прошлой ночью, позапрошлой ночью, любой ночью. И корабельный инженер Замятин склоняется над листом бумаги в сугубо сухопутной Лебедини, где этим летом снова поспевают крупные красные яблоки.

АВВАКУМ



Протопопа Аввакума расстригали и проклинали в кремлёвском Успенском соборе. Он перебивал и проклинал в ответ. Потом на ямской подводе его и его соратников дьякона Фёдора, священника Лазаря и старца Епифания повезли в Пустозёрск. Дорога долгая, месяцы пути. По дороге, на Печоре, народ собрался смотреть на мятежного протопопа, он встал на подводе во весь рост — волосы всклокочены, борода дыбом, ноги в цепях — и громко учил их держаться истинной веры и не отступать от правды.

Многое он изведal. В Москве за протестные проповеди его арестовывали прямо в церкви, у всенощной; он сидел на патриаршем дворе на цепи, так же как сидел в цепях в Андрониковом монастыре в подвале, откуда его выводили, чтобы плевать в глаза и драть за волосы. А он в ответ бранил своих мучителей. В Юрьевце-Повольском он так разъярил город обличениями грехов, что толпа в тысячу человек вытащила его из приказа, била батогами и ногами. Особенно били бабы — «грех моих ради убили меня замертво и бросили под избыной угол»¹. Избяной угол это ещё ничего, потому что хотели его труп и вовсе собакам в ров кинуть. В Пафнутьевом монастыре год сидел в темноте в цепях.

Пустозёрск — вторая его ссылка. Первая была в Сибирь. Из тёплой, уютной, печной Москвы его гнали в места

холодные, дикие, необжитые, где пустынные горы восходят к столь же пустынным небесам и огромными зеркалами сияет лёд замёрзших озёр. В челобитной царю Алексею Михайловичу он называет эти места «бесхлебной страной» и просит хотя бы алтын в день на пропитание. По бескрайнему льду он однажды, впрягшись, тянул нарты с выловленной рыбой, и взмок, и обессилел под бескрайним небом. Тащил рыбу, сколько мог, потому что семья голодает, а потом упал. Скинул с шеи постромки и на локтях четыре версты полз по льду. На берегу залез на дерево — мокрая одежда застыла коркой — завернулся в тонкую беличью шубу и уснул. Потом опять брёл, шатаясь, и полз на коленях, и приполз к двери избы, но войти не смог. Жена, Настасья Марковна, взяла под мышки, втащила.

В другой раз в тех же краях сто вёрст по снежной равнине волочил нарты со своим ветхим и скудным барахлишком. У других, кто с ним шёл, были собаки и помощники, у него никого. Впряг вместо собак двух маленьких сыновей. Сестра, ещё меньше их, бежала сзади, пока могла, потом легла на нарты. Мальчишки, обессилев, падали, тогда жена Марковна, шедшая с мешком муки за спиной, давала каждому в рот по кусочку пряника. И снова шли по льду и по снегу через белую пустыню.

— Долго ли муки сия, протопоп, будет?

— Марковна, до самых смерти!

— Добро, Петрович, ино ещё побредём.

Видения приходят к Аввакуму в тёмной пустозёрской избе с низким потолком, где он в болезни лежит на печи. Зубы в лихорадке так сильно колотятся друг о друга, что кажется, сейчас вылетят, мокрые от пота волосы обвисают вдоль головы, тело ломит от жара. И ещё понос. Десять дней не ест и доходит до страшного обострения

всех чувств. И вдруг всем своим длинным тощим телом с огромными ступнями и узловатыми кистями взмывает и парит в сиянии, и в него с разных сторон, как по стенам гигантской воронки, стекает Божий мир. Всё, всё вливается в него, свет, воздух, горы, моря, леса, реки, озёра, так что он, неподвижно лёжа с закрытыми глазами, сам становится Божьим миром, претворяется в него. «Видишь ли, самодержавне? Ты владеешь на свободе Русскою землёю, а мне Сын Божий покорил за темничное сидение и небо, и землю»². Ты, царь, умрёшь и будешь иметь два метра земли, саван и гроб, а мои кости псы и лисицы растащат по всей земле, и я буду всем и всюду. Каково это читать в Кремле смущённому царю Алексею Михайловичу?

Вот как он пишет ему. Ну, расстригли, прокляли, били, мучили, в цепях держали, по снегу гнали, воевода Пашков 72 раза бил кнутом, раскладывал огонь, чтобы пытать... «Положь то дело за игрушку. Мне то не досадно». Потом внезапно краткий, сухой, трезвый, деловой разговор. «А корму твоего, государь, дают нам в вес муки по одному пуду на месяц, да и о том слава Богу. Хорошо бы, государь, и побольши для нищие братие за ваше спасение. Изволь, самодержавне, с Москвы отпустить двух сынов моих к матери их на Мезень, да тут живучи вместе, за ваше спасение Бога молят, и не умори их з голоду»³.

Его загнали в Пустозёрск на край света, а сыновей Ивана и Прокопия оставили в Москве. Но как оставили? Как щенков или котят, взяв за шкурки, оторвали от матери и бросили на улице. Добрым людям взять их к себе страшно — узнают в Приказе тайных дел, придут, скрутят руки за спиной, наденут железо на ноги и погонят вслед за непокорным протопопом на север. Всей милости и смелости хватало у сердобольных людей, чтобы приютить двух

голодных мальчишек на ночь, а утром — уходите. Так они три года шатались по улицам, а потом ушли из злого города к матери, на Мезень. От Москвы до Мезени 1700 километров — даже сейчас электронная карта предупреждает «возможны грунтовые дороги», а тогда и их не было.

А когда пришли, вслед за ними пришёл приказ: повесить. «И за вся сия присланы к нам гостинцы: повесили в дому моем на Мезени на виселице двух человек, детей моих духовных»⁴. Сыновей тоже велено было повесить, но они испугались, покаялись, тогда проявили милосердие: всего только в яму, в земляную тюрьму, бросили с матерью.

За это он свою Марковну укорял — «доброй человек», сама нищая, помогала нищим, сама светлая, тёмных учила свету, «а детей своих и забыла подкрепить, чтоб на виселицу пошли и с доброю дружиною умерли за одно Христа ради»⁵. Ну ничего, Пётр тоже испугался, предал Христа. Детей он простил.

Самого Аввакума тогда же привели к плахе и прочитали ему указ ласкового, тихого царя: вместо казни зарыть в земляной сруб и держать на хлебе и воде. Он в ответ плюнул в них: «Я плюю на его кормлю! А веры не предам».

Сподвижникам Аввакума резали языки и руки. Священнику Лазарю резали язык и отрубили на плахе кисть правой руки: молчи и не пиши! Он смеялся: «Собаки они, вражьи дети! Пусть едят мой язык!» И без языка говорил то, что с языком. А старец Епифаний просил отрубить ему голову. Отказали, тогда он рукой вытянул изо рта язык и положил на нож, а дрожащий от ужаса палач кое-как отрезал. Руку тоже дал сам и велел палачу резать всерьёз. Тот отрезал четыре пальца. Дьякону Фёдору тоже резали язык, но не смогли весь — руки у палача тряслись, нож падал. Кое-как откромсал дьякону пол-ладони.

Сруб зарыли в землю, в него опустили узников, над ним поставили другой, в нём охрана — десять стрельцов. И они, сквозь доски пола и землю, слышали, как там, внизу, под их ногами, в ледяной тьме Аввакум поёт Песнь песней царя Соломона. Но то, что у Соломона была женщина, у Аввакума — церковь. Другие узники пели вместе с ним.

Один из стрельцов, Кирилл, день за днём слушая гимны из-под земли, повредился в уме. Сошёл вниз и там сошёл с ума окончательно. Аввакум его кормил и обмывал, изгонял из него бесов. Тот полностью подчинился его воле — не брал еду без благословения. Умер в беспросветной темноте, лёжа на лавке, а Аввакум, помолившись о нём, поцеловал и лёг рядом спать. «Товарищ мой миленькой был. Славу Богу о сём. Ныне он, а завтра я так же умру»⁶.

Но до смерти ещё надо дожить. Смерть ещё надо заслужить, надо дотерпеть до смерти, надо пройти узкими путями, где мокрые стены застенков давят по бокам, крысы гложут пальцы ног, видишь свои торчащие рёбра в дыры рванья и собственное дерьмо на лопате носишь в окно. Да и разве угадаешь свою смерть? Может, уморят голодом, как сподвижника Даниила, которому в Астрахани наложили на голову терновый венец и лишили еды, может, повесят... И так, как бы походя, говорит он: «Рабом Божиим всем пожжённым вечная память 30, болшая». Значит, жгут его духовных детей, тридцать человек сожгли. А он пока жив.

Террор идёт и ширится по Руси. Те, кто крестятся тремя пальцами, неистово бьют, убивают, мучают, калечат тех, кто крестится двумя. «На Москве старца Авраамия, духовного сына моего, Исаию Салтыкова в костре сожгли... В Нижнем человека сожгли. В Казани 30 человек. В Киеве стрельца Иллариона сожгли. А по Волге...

тысяча тысящами положено под меч нехотящих принять печати антихристовы»⁷. Кровью залиты города и деревни, дым от костров столбами идёт вверх, в земляных тюрьмах умирают в нечистотах голые люди — как это вынести? Как молчать?

Слово Аввакума весомо, сильно и бугристо, будто мускул на вздутии. В слове гнев, в гневе вдруг добродушный юмор. («Что собачка на соломке лежу» — это он о себе в Братском остроге.) Слово перехлёстывает в дело, а дело перепрыгивает в слово. И не у одного Аввакума так, который, если прихожанин был груб или туп, сажал его в церкви на цепь. Другой протопоп, муромский, Логин, которого расстригали при царе в кремлёвском соборе, через алтарь плевал в глаза патриарху Никону. Суздальский священник Никита, которому епископ повелел читать о его наказании, вырвал у дьяка грамоту, растоптал её, избил дьяка. Девяностолетний старец Корнилий, размахнувшись, ударил попа в лоб кадилом с горящими углями — а не ври! О хорошей встрече с врагами — патриархом и царём — мечтает и Аввакум: «Я ещё, даст Бог, прежде суда тово Христова, взявши Никона, разобью ему рыло, блядин сын, собака, смутил нашу землю. Да и глаза ему выколупаю, да и толкну его взащей; ну во тьму пойдя, не подобает тебе явиться Христу моему свету. А царя Алексея велю Христу на суде поставить»⁸.

Люди просят у Аввакума его слова как укрепления, как усиления, как жизненно необходимого. Неизвестный нам Родион Греков, пять лет бывший в плену в Крыму у басурман, в тайном письме на Мезень называет его священнопротопопом и просит «от Бога данной тебе благодати слова к нам». Слово — благодать! Как ценна эта благодать в страшные времена. И священнопротопоп из своей

грязной ямы на далёком севере отвечает на оборотной стороне ветхого, потёртого на сгибах, измусоленного в мешках и карманах листа — чтоб бумага не пропадала.

Сыщики Приказа тайных дел рыщут по стране, разыскивая письма Аввакума и тех, кому они писаны. Хватает какого-то Меркушку, которому Аввакум якобы писал, Меркушка ничего знать не знает. Перехватывают варежки из двойной ткани, грубые, грязные — в них зашиты письма Аввакума его духовной дочери боярыне Морозовой. Её скоро уморят голодом в подземелье в Боровске — перед смертью она увидит, как умрёт от голода её сестра Урсова, и узнает, что четырнадцать её верных слуг сожжены за веру. Ну и ей за ними в светлый рай к Иисусу пора!

Всю жизнь Аввакум своим словом, как могучим поперечным бревном, перегораживал людям путь к греху, всю жизнь шёл наперекор власти, церкви, Собору. В деревне, молодым священником, «во Христе ревнуя», напал на толпу, собравшуюся вокруг скоморохов с бубнами и медведями. Грех! Толпу разогнал, скоморохов прогнал, бубны поломал, с медведем схватился и бил его так, что бедный косопалый упал, а другой убежал от протопопа в страхе. Посредине реки, на судне боярина Шереметева, куда его на лодке доставили жалобщики, уговорам боярина не внял, перечил ему, а когда тот, махнув на упрямца рукой, велел благословить своего сына и убираться, Аввакум благословлять отказался — сын безбородый, бороду сбрил! Допёк Шереметева, и он велел выбросить Аввакума с корабля, что и сделали матросы с матюками — едва выплыл.

Что-то было такое в этом длинном, худом протопопе — сыне деревенского попа-пьяницы и богобоязненной матери, — что не просто злило людей, а доводило их до бешенства, до остервенения, до белого каления. Его

несговорчивость? Его непреклонная уверенность в том, что он, как пророк иудейский, должен их обличать и судить? Одного начальника так обличал, что тот ночью прискакал к его дому со своими людьми, стрелял из луков и пищалей и пытался взять дом штурмом, но Аввакум затворился, молился и молитвой отогнал. Другого осуждал за то, что отнял дочь у вдовы. Тот подкараулил Аввакума у церкви, бил и, схватив за ноги, таскал в ризе по земле, а протопоп в это время говорил молитвы. Как зверь был начальник: ворвался в дом и «у руки, яко пёс, огрыз персты. И егда наполнилась гортань его крови, тогда испустил из зубов своих руку мою»⁹. Дьякон Кузьма, посланный церковным начальством увещевать Аввакума, днём напился, ночью явился к нему и хотел убить. Нашёл чем пугать протопопу.

Однажды к нему пришёл монах и потребовал царства Божия. Ах, ты царства Божьего захотел, дурак? Он поставил посреди комнаты стул, положил на него мясной топор, а потом взял топор и велел монаху голову положить на стул. Вот чем и вот как даётся царство Божие. Монах бежал в ужасе, забыв кlobук, бежал от этого длинного, страшного, высокого, тощего, с глазами как тарелки, полные огня, с руками как клешни, а в одной топор с сияющим лезвием. Такого не забудешь.

В Москве ему привели на излечение «бешаного» Филиппа. Посадил его на цепь и по ночам ходил к нему с крестом и молитвами. По ночам — потому что днём был занят спорами о вере, о правде, о Боге. Аввакум так говорил о врагах: «яко блядословят о нас никонияны». Симеон Полоцкий в ответ: «богоненавидимая блядилища». Вот и поспорили. Однажды приехал от большого вельможи Фёдора Ртищева, «понеже с еретиками бранился и шумел в доме его», а дома жена Марковна ругается с родственницей Февроньей.

Одну огрел, другую огрел — «да и всегда таки я, окаянной, сердит, братца лихой» — и пошёл лечить бешеного на цепи. А тот дотянулся, сграбастал и избил лекаря. Протопоп, весь в крови, вернулся к жене, кланялся ей: «Прости меня пожалуйста грешного!» Февронье тоже кланялся. Лёг на пол в горнице и велел бить себя плетью по спине — каждый пять раз, а в избе человек двадцать его ближних, домочадцев. И жена, и сыновья, в слезах — били.

Современному уму непостижимо, что люди могли зарывать друг друга живыми в землю и сжигать из-за того, креститься двумя пальцами или тремя. Ну а если от сложения пальцев зависит не только их личное спасение в грядущем мире, но и судьба всех людей и всего мира, лежащего в смуте перед глазами созерцающего сверху Бога? Плох мир, плохо ему! Что, если оттого, трижды произносить аллилуйя или четырежды, зависит не только, будет ли произносящий спасён или попадёт в огненную геенну, но и то, что случится со всей огромной, смутной, неустроенной, не знающей на востоке своих пределов русской землёй, с её тёмными избами, соломенными крышами, с дымком над ними, с мычащими коровами и ныряющими в прудах утками, с оборванными людишками, что ходят по грязи босиком, с голожопыми и голопузыми детьми, сосущими корку хлеба.

А ещё это битва за то, какой быть русской церкви. Безвольно прилипшей к власти, слившейся с ней до неотличения, покрывающей грехи и преступления — или отдельной от власти, говорящей с ней уважительно, но без лести и подобострастия. Если надо — и о грехах её скажет. Если нужно — осудит. Эта, другая церковь, церковь Аввакума, могла быть сильной и гневной, аскетичной и суровой, как он сам и его дети духовные, которые видели свой

путь подобным пути апостолов и первых христиан. Но ей не дали быть — замучили, запытали, затерзали, выбросили на обочину русской истории.

Монаха Мартина Лютера в его передвижениях по Германии сопровождали то двести студентов с пиками и алебардами, то сто рыцарей в боевой броне. Когда он приехал на Вормский рейхстаг, рыцарей было уже четыреста. Тронь такого! Сразу заблестят мечи. Когда Аввакума, растянув ему руки, везли на телеге в Кремль, чтобы судить на Собо-ре, он был один — рядом с ним не было ни студентов, ни рыцарей (за отсутствием тех и других на Руси). Только государевы стрельцы с их вечными матюками, только злые попы, тоже государевы. Когда его везли на север, в Пустозеро (так это место называлось в документах тех лет), рядом с ним были только трое порезанных палачами сподвижников, да жена Настасья, да дети. Русский раскол — погибшая реформация.

Не он один такой, все они такие, сподвижники Аввакума, — не гнущиеся перед властью и царём, обуянные огнём веры, не боящиеся ни отрубания рук, ни усекновения главы. Дьякона Фёдора, сбежавшего из монастыря, поймали и поставили перед Собором в Крестовой палате: кайся! Он в ответ: Собор неправославный! Каяться не буду! Инок Авраамия, ходившего круглый год босиком и в рубашке, поставили перед церковно-государственной комиссией (да, церковь уже срослась с властью, они одно и то же) и допрашивали о взглядах. Он сказал им всё, не таясь. Это было в августе. В декабре ему отрубили голову на Болоте в Москве. И в Ижме на Печоре отрубили голову Киприану Нагому, юродивому последователю Аввакума.

Четырнадцать лет сидят Аввакум, Лазарь, Фёдор и Епифаний в тюрьме в Пустозёрске. Это город-призрак,

город-тень, он возник на северном краю земли со своими дырявыми избами и брошенными людьми дворами словно только для того, чтобы там могли мучить четырёх узников — и потом исчезнет. Сейчас его нет — остались поле и кресты. Изрезанные ножом палача, искалеченные, без языков, без пальцев, они сидят в яме бессрочно. Только Аввакум цел, его не тронули. Смущает он царя. Как-то раз они столкнулись с ним в кремлёвском соборе — внимательно молча посмотрели друг на друга, поклонились друг другу и, ничего не сказав, разошлись. В другой раз, когда Аввакум сидел в заточении в «студёной палатке» семнадцать недель, царь приехал, ходил вокруг палатки, вздыхал, хотел заговорить, что-то сказать, но так и не сказал... Но присылал людей, чтобы передали: «Не мучай ты нас, Аввакум, пожалуйста! ну хоть видимо примиришься с церковью, с властью. Не хочешь мириться, ну хоть помолчи!» Напрасные просьбы.

Пустозёрская тюрьма гниёт. Люди, с их исхудавшими, озябшими телами, держатся, а тюрьма рушится. В этом климате долго не выдерживают крепкие брёвна, и под натиском диких ветров валяются изгороди. Снова за пятьсот вёрст везут лес в голые нежилые места и снова строят самое важное, самое главное, без чего не может государство — тюрьму. «Тюрьмы нам зделали по сажени, а от полу до пологу головой достать» (дьякон Фёдор). Сажень — это чуть больше двух метров.

Четырнадцать лет он сидит в пустозёрской тюрьме и пишет — своё житиё, и письма духовным детям, и слова об иконном писании, и мысли о внешней мудрости, и ещё многое, многое. Сначала пишет на бумаге, на больших жёлтых листах, но потом ему запрещают бумагу и чернила, и воевода князь Львов докладывает в Москву царю, что

«я, холоп твой, досматриваю тех колодников по все дни». Тогда тайно пишет на бересте. А по ночам, когда тюремщики ложатся спать, четверо узников выползают из своих ям и клетей, сходятся на тёмном дворе и яростным шёпотом спорят о важном — об Исусе, об ангелах. Как выглядят ангелы? До остервенения спорят, до оскорблений и страшной обиды друг на друга.

Лишь однажды он выйдет днём, это будет весной, в апреле. Щурясь на сияющий свет с быстро бегущих небес, большими босыми ногами переступая по размякшей земле, выйдет и увидит четыре — по одному на каждого — свежих сруба без крыш, обмазанных смолой, заполненных паклей. И бегающих туда-сюда озабоченных стрелцов. В Москве новый царь. Пришёл из Москвы приказ сжечь четырёх «юзников темничных».

Давным-давно, деревенским мальчиком, разводившим голубей, он узнал о смерти. «Аз же, некогда видеv у соседа скотину умершу, и той нощи восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть»¹⁰. Никогда не забывал того своего детского ужаса перед неизбежным, неизбывным, всегда она была перед ним, рядом с ним. И вот теперь пришла.

Но слово его, мелкими буквами написанное на жёлтой бумаге, криво нацарапанное на бересте, покинувшее тюрьму то в потайных карманах неких людей, то в скрытных ящичках в крестах, которые десятками и годами мастерил тихий узник старец Елифаний — пускается в путь.

Первое русское слово, положенное поперёк общей лжи и оплаченное жизнью того, кто его написал — это Аввакум. Первый русский самиздат — тоже он. Самиздат упорный, неуничтожаемый, самиздат на бересте и на раздолбанной машинке в четыре тусклые копии, самиздат

потайных писем, авторов которых разыскивают шакалы
сыска из Приказа тайных дел, и «Хроники текущих собы-
тий», редакторов которых арестовывает ГБ, самиздат под-
полковника Лунина, пишущего при свече, сидя в двух
шубах в ледяном остроге, и самиздат в интернете, когда
перекрыли кислород, а слово не удержишь, оно кипит
и течёт — всё идёт от него.

На старообрядческой иконе в начале главы, слева направо:
епископ Павел Коломенский — единственный в исто-
рии епископ-юродивый, сожжён в срубе
дьякон Фёдор
протопоп Аввакум
священник Лазарь
инок Епифаний

* * *



Над храмом Живоначальной Троицы в голубом зимнем небе стоит узкий серп луны. Мимо ходят трамваи. Напротив горит красная вывеска ресторана «Одесса», с боков церковь тоже окружают рестораны и кафе. Так она и высится здесь — светло-зелёная с белизной, тихая.

Эта каменная церковь с колокольной построена в девятнадцатом веке. Я помню её убогий обветшалый вид в советские годы; колокольню у неё снесли, внутри устроили клуб, в который не знаю, кто ходил. Но история не об этом.

Близится вечер. Истончается наше время, и сквозь него, как через лёгкую голубоватую плёнку, проступает время другое. Сначала оно мутно и темно, как будто тени под водой, а потом выступает и приближается к нам, и тогда таинственно меняется картина. Каменная церковь исчезает, а на её месте появляется деревянная. Некоторое время ещё проезжают мимо неё трамваи, осыпанные белыми новогодними огоньками, и сияет вывеска ресторана «Одесса», но вот она гаснет вместе с уличными фонарями, и на старинной Шаболовке воцаряются 1698 год и тишина.

Москва тогда кончалась на Калужской заставе, Шаболовка была проселочной дорогой, по которой из Москвы ездили в Донской монастырь. По обе стороны дороги стояли редкие избы с палисадниками. Среди них церковь. «Первым настоятелем стал священник Филипп Феофилактов, также в приходе жили дьяк, ризничий, трое подьячих,

трое торговцев, два кузнеца и портной мастер, приходских дворов было 32 и принадлежали они стольнику и боярским людям»¹¹. Здесь, в одном из домов московского пригорода, жила жена протопопа Аввакума Настасья Марковна, вернувшаяся из ссылки.

С тех пор, как я об этом узнал, Шаболовка с трамваями и дворы с детскими площадками, и без того близкие и знакомые мне, стали ещё ближе.

Богомольная дочь кузнеца Марко в деревне Григорово под Нижним Новгородом в 14 лет вышла замуж за сына священника семнадцатилетнего Аввакума, который вскоре и сам стал священником. Себя он по-простецки называл попом. Воспаляясь сознанием, жил в мире пророков и с пророческой яростью судил всех: бояр, воевод, патриарха, царя. Встреч, свиданий, объяснений у Анастасии и Аввакума не было — мать привела в дом девочку-сироту и сказала, вот твоя жена. Отец её, кузнец Марко, к этому времени умер, семья без отца обнищала. «Она же в скудости живяше и моляшеся Богу, да же сочетается за меня совокуплением брачным; и бысть по воле Божий тако»¹².

Первое изгнание они претерпели, когда начальник, которого Аввакум осуждал за nepотpeбствa, бил его, чуть не убил и выгнал из дома. А Настасья только что родила. «Аз же, взяв клюшку, а мати — некрещенова младенца, побрели, аможе Бог и наставит...»¹³. Так всегда будет и дальше — он будет обличать, его будут бить и гнать, мучить, сажать в тюрьмы и остроги, а она будет с ним. Так и пойдёт этот неуступчивый, нестигаемый протопоп по своему пути — рядом с маленькой женщиной и в окружении всё прибывающих детишек.

К детям он обращался: «Чадо!», а они к нему: «Батюшко-государь».

В ссылку она пошла с детьми и Аввакумом беременная. В Сибирь — пешком. По дороге родила. «Протопопица младенца родила, — большую в телеге и повезли до Тобольска; три тысячи верст недель с тринацать волокли телегами и водою и саньми половину пути»¹⁴.

На реке Тунгуске дощаник — корабль, на скорую руку сколоченный из досок, — дал течь и затонул. «Жена моя на полубы из воды робят кое-как вытаскала, простоволоса ходя. А я, на небо глядя, кричу: “Господи, спаси! Господи, помози!”»¹⁵.

По льду замёрзших безымянных рек она шла за мужем, а за ней бледные, исхудавшие дети. «От глада исчезаем». Летом его впрягали в лямку, чтобы дощаник тянул, а зимой он впрягал детей в лямки, чтобы помогали тянуть сани с поклажей. Ноги распухали, животы синели. Его вела и держала вера, а её что? Видела же, в какие ледяные места ведёт его неуступчивость, понимала, до чего доведут его вера и правда. Верна была не вере — оставшись одна, без него, она в обычную церковь ходила и раскольников не искала, — а верность мужу. Он страдал за веру и правду, а она за него.

Ребёнок, которого она родила по пути в Тобольск, умер у неё на руках. И ещё один умер на дороге. В Мезени её посадили в земляную тюрьму с сыновьями. В Братске двенадцатилетний сын Иван пришёл повидаться с отцом, сидевшим в остроге, воевода Пашков бросил мальчика на сутки в острог: ну-ка, ты, сучье племя, отведай с малолетства побоев и холода. Как матери на всё это смотреть? Но за всю свою жизнь она Аввакуму ни слова упрёка не сказала, только он себе эти упрёки сам сказал.

Однажды в отчаянии и печали он сказал ей об этом, готовый отказаться от самого себя, лишь бы не тащить

жену и детей за собой на муки. Она отвечала — текст таков, что мы точно видим, как она всплёскивает руками: «Господи помилуй! Что ты, Петрович, говоришь! Аз ты и з детьми благословляю: дерзай проповедати слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи! Дондеже Бог изволит — живём вместе, а егда разлучат — тогда нас в молитвах своих не забывай. Силен Христос и нас не покинуть! Поди, поди в церковь, Петрович, обличай блудную еретическую!»¹⁶.

Пророк жил в своём мире, головой пробивая небеса, а она жила тут, в окружении семи детей, которых надо накормить, напоить, утешить, умыть, согреть, научить, приласкать. И, всей семьёй встав на колени в тёмной избе, молиться об отце, который двенадцатый год сидит в земляной тюрьме, оголодал, исхудал, но сияет безумными глазами и растрёпанной седой гривой.

В Пустозёрский острог она посылала ему через людей посылки. И он старался ей оттуда посылать, хотя что он мог послать, если у самого ничего нет? «Давн[о] рубахи надобно: часто наг хожу. Да и башмачишков нет, какие бы нибудь, да и ферезишков нет, да и денженец нет»¹⁷. И пишет о дочери: «Я Огрофене холстинку послал, да неведомо до нея дошла, неведомо — нет; уш то ей, бедной, некому о том грамотки написать? Уш-то она бранится з братиею? А я сетую, невесть — дошла, неведомо — нет»¹⁸.

Не только мужу она посылала, но и тем, кто с ним вместе сидел. Дьякон Фёдор ей пишет: «Да спаси тя Христос, матушка Марковна, за любовь милосердия твоего, что пожаловала, прислала мне, темничному юзнику, въкупе з батюшком протопопом, запасцу с Лодмой — прежде крупок овсяных, а ныне на лодье Иванове и богатее того сугубо — яшныя мучки и круп яшных и грешневых»¹⁹.